



Б Л Е З

ПАСКАЛЬ

МЫСЛИ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Блез Паскаль

Мысли

«Издательство АСТ»

УДК 1(091)(44)

ББК 87

Паскаль Б.

Мысли / Б. Паскаль — «Издательство АСТ», — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-112632-2

Что есть человек? Какова его природа? В чем смысл жизни? Этим основополагающим вопросам человеческого бытия посвящены «Мысли» – оставшийся незавершенным труд Паскаля, который содержит глубокие размышления о Боге и месте человека во Вселенной. Афористичность изложения, краткость определений и лаконичный стиль выделяют этот шедевр из множества философских текстов XVII века. «Мысли», написанные в переломную эпоху, когда на излете гуманизма Возрождения зарождался рационализм Просвещения, чрезвычайно актуальны и сегодня, во времена не менее сложные и противоречивые. В формате pdf.a4 сохранен издательский макет.

УДК 1(091)(44)

ББК 87

ISBN 978-5-17-112632-2

© Паскаль Б.

© Издательство АСТ

Содержание

Жизнь господина Паскаля, написанная госпожой Перье, его сестрой, супругой господина Перье, советника палаты сборов в Клермоне	6
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Блез Паскаль

Мысли

© Перевод. Ю. Гинзбург, наследники, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Жизнь господина Паскаля, написанная госпожой Перье, его сестрой, супругой господина Перье, советника палаты сборов в Клермоне

Мой брат родился в Клермоне 19 июня тысяча шестьсот двадцать третьего года. Отца моего звали Этьен Паскаль, он был председателем Палаты сборов. Моя мать звалась Антуанетта Бегон. Как только брат мой достиг того возраста, когда с ним можно было говорить, он стал выказывать ум необыкновенный – краткими ответами, весьма точными, а еще более – вопросами о природе вещей, которые удивляли всех вокруг. Такое начало, подававшее блестящие надежды, никогда нас не обманывало, ибо по мере того как он становился взрослее, возрастала и сила его рассуждений, далеко превосходившая его телесные силы.

Моя мать умерла в 1626 году, когда брату было всего три года, и отец, оставшись один, удвоил заботы о своем семействе; поскольку других сыновей у него не было, положение единственного сына и другие качества, которые он угадывал в этом ребенке, заставляли его питать к нему такую привязанность, что он не мог решиться доверить его воспитание кому-нибудь другому и положил обучать его сам, что он и сделал; мой брат никогда не посещал коллежа и не знал другого учителя, кроме отца.

В 1632 году отец переехал в Париж, перевез нас всех туда и там обосновался. Моему брату, которому было тогда только восемь лет, переезд этот был очень полезен, исходя из отцовских замыслов о его воспитании; отец, без сомнения, не мог бы уделять ему столько забот в провинции, где его должность и многочисленное общество, постоянно у него собиравшееся, отнимали у него много времени. А в Париже он был совершенно свободен; он посвятил себя этому целиком и добился такого успеха, какой только могут принести заботы отца столь разумного и любящего.

Главным правилом его воспитания было, чтобы ребенок всегда оставался выше того, что изучал; поэтому отец не хотел преподавать ему латынь, пока ему не исполнилось двенадцати лет, чтобы она ему легче давалась. За это время он не позволял ему праздности, а занимал его всевозможными вещами, на которые считал его способным. Он объяснил ему в общем, что такое языки; он показал, что языки подчиняются определенным правилам грамматики, что из этих правил бывают исключения, которые люди позаботились отметить, и что так было найдено средство сделать все языки доступными пониманию от страны к стране. Эта общая мысль прояснила его понятия и дала ему увидеть, для чего существуют правила грамматики, так что когда он стал их изучать, то уже знал, зачем он это делает, и занимался как раз теми вещами, где более всего требовалось прилежания.

После всех этих познаний отец преподавал ему и другие. Он часто говорил с ним о необыкновенных явлениях в природе, например о порохе и других вещах, поражающих разум, когда о них задумываешься. Мой брат находил большое удовольствие в этих беседах, но хотел знать объяснения всех вещей; а поскольку они не все известны, то, когда отец ему их не давал или давал лишь те, что приводят обычно и суть не что иное, как отговорки, – это его не удовлетворяло. Ибо он всегда обладал удивительной точностью ума в определении ложного; можно сказать, что всегда и во всем единственным предметом, к которому стремился его ум, была истина, так как никогда и ни в чем он не умел и не мог находить удовлетворения, кроме своих познаний. Поэтому он с детства мог соглашаться только с тем, что казалось ему несомненно правильным, так что, когда ему не давали точных объяснений, он искал их сам и, задумавшись о какой-то вещи, не оставлял ее до тех пор, пока не находил для нее удовлетворяющего его объяснения.

Однажды за столом кто-то случайно ударил ножом по фаянсовой тарелке; он заметил, что при этом раздается громкий звук, который стихает, если прикрыть тарелку рукой. Он хотел непременно узнать тому причину, и этот опыт привел его ко множеству других со звуком. Он обнаружил при этом так много, что в возрасте одиннадцати лет написал о том трактат, который был найден весьма убедительным.

Его гений в геометрии стал проявляться, когда ему было всего двенадцать лет, и при обстоятельствах столь необыкновенных, что о них стоит рассказать подробно. Мой отец обладал обширными познаниями в математике и имел обыкновение беседовать о ней со всеми сведущими в этой науке людьми, которые бывали у него. Но поскольку он намеревался обучить моего брата языкам и знал, что математика имеет свойство заполнять и довольствовать собою ум, то не хотел, чтобы мой брат с нею знакомился, опасаясь, как бы это не заставило его пренебрегать латынью и другими языками, в которых он желал его совершенствовать. Поэтому он спрятал все математические книги. Он воздерживался разговаривать со своими друзьями о математике в его присутствии; но несмотря на такие предосторожности, любопытство ребенка было возбуждено, и он часто просил отца обучать его математике. Но отец отказывался, предлагая ему это в качестве награды. Он обещал, что, как только тот преуспеет в латыни и греческом, он начнет учить его математике.

Мой брат, видя подобное сопротивление, спросил его однажды, что такое эта наука и чем она занимается. Отец ответил ему в общем, что это умение строить правильные фигуры и находить пропорции между ними; вместе с тем он запретил говорить о ней дальше и думать когда бы то ни было. Но его ум, не умевший оставаться в предуказанных границах, как только узнал это простое вступление – что геометрия есть средство строить безупречно правильные фигуры, – стал размышлять о ней в свои свободные часы; придя в комнату, где он обычно играл, он взял уголек и принялся чертить фигуры на полу, ища способа построить совершенную окружность, треугольник с равными сторонами и углами и другие подобные вещи.

Он нашел это все без труда; затем он стал искать пропорции фигур между собой. Но поскольку отец столь тщательно скрывал от него такие вещи, что он не знал даже названий фигур, пришлось ему самому их придумывать. Он называл окружность колечком, прямую – палочкой; так же и с прочим. После названий он придумал аксиомы и наконец совершенные доказательства, и, переходя от одного к другому, он так далеко продвинулся в своих изысканиях, что дошел до тридцать второй теоремы первой книги Евклида. Когда он ею занимался, отец случайно вошел к нему в комнату, так что брат этого не услышал. Он был на глазах отца так поглощен своими занятиями, что долго не замечал его прихода. Трудно сказать, кто был больше поражен, – сын, увидев отца, строго запретившего ему такие занятия, или отец, увидев сына, погруженного в такие вещи. Но отцовское удивление еще возросло, когда, спросив сына, чем он занимается, услышал в ответ, – что он искал такие-то и такие-то вещи – что и было тридцать второй теоремой Евклида.

Отец спросил, что навело его на такую мысль, он ответил, что обнаружил то-то и то-то; в ответ на следующий вопрос он рассказал еще несколько доказательств, и так, возвращаясь назад и пользуясь как названиями «колечками» и «палочками», он дошел до своих определений и аксиом.

Мой отец был так потрясен величию и мощью его дарования, что, не сказав ему ни слова, вышел и отправился к господину Ле Пайёру, своему близкому другу и очень ученому человеку. Придя к нему, он долго оставался неподвижен и словно вне себя. Господин Ле Пайёр, видя все это и вдобавок катившиеся из его глаз слезы, был не на шутку встревожен и просил его не скрывать более причину своих огорчений. Отец ему сказал: «Я плачу не от горя, а от радости. Вы знаете, как я старался не допустить для моего сына знакомства с геометрией из страха отвлечь его от других занятий. Но посмотрите, что он сделал».

Господин Ле Пайёр был удивлен не меньше, чем мой отец, и сказал, что считает несправедливым и далее сковывать такой ум и скрывать от него эти познания, что следует показать ему книги и больше его не удерживать.

Отец с этим согласился и дал ему «Начала» Евклида для чтения в часы досуга. Он прочел и разобрался в них сам, и объяснения ему не потребовалось ни разу. Пока он их читал, он придумывал и свое и продвинулся так далеко, что смог постоянно бывать на еженедельных собраниях, куда сходились самые ученые люди в Париже, чтобы принести свои работы и обсудить чужие.

Брат мой стал очень заметен и в обсуждениях, и в собственных трудах, будучи одним из тех, кто наиболее часто приносил туда новые работы. В этих собраниях нередко также разбирались задачи, присланные из Германии и других стран, и его мнение обо всем этом выслушивалось внимательнее, чем чье-либо другое: у него был ум столь живой, что, случалось, он обнаруживал ошибки там, где прочие их не замечали. А между тем он уделял этим занятиям лишь часы досуга, так как изучал тогда латынь, согласно правилам, установленным для него отцом. Но поскольку он находил в этой науке истину, которую всегда так пылко искал, то был так этим счастлив, что вкладывал в нее всю душу; и как бы мало он ею ни занимался, он продвигался так быстро, что в возрасте шестнадцати лет написал «Трактат о конических сечениях», который слыл таким достижением ума, что говорили, будто со времен Архимеда не бывало ничего подобного.

Все ученые полагали, что надо сразу же его напечатать, потому что, говорили они, хотя такой труд всегда будет вызывать восхищение, а все же, если его напечатать в тот год, когда автору всего шестнадцать лет, это обстоятельство немало прибавило бы к его достоинствам. Но поскольку мой брат никогда не имел жажды славы, он не придавал этому значения и труд этот так и не был напечатан.

Все это время он продолжал изучать латынь и греческий, а кроме того, за едой и после нее отец беседовал с ним то о логике, то о физике и других разделах философии, и он все об этом узнал, не бывав никогда в коллеже и не имев других учителей ни в этом, ни во всем прочем.

Можно только вообразить, как радовался отец успехам моего брата во всех науках; но он не подумал, что такое усиленное и постоянное напряжение ума в столь нежном возрасте может дурно сказаться на его здоровье; и действительно, оно стало ухудшаться, как только он достиг восемнадцати лет. Но недомогания, которые он тогда испытывал, были невелики и не мешали ему продолжать все его привычные занятия, так что как раз в то время, в возрасте девятнадцати лет, он изобрел арифметическую машину, с помощью которой можно производить всевозможные действия не только без пера или жетонов¹, но и без знания правил арифметики, и притом с безошибочной точностью. Это изобретение считалось вещью совершенно небывалой, поскольку укладывало в машину науку, обитающую в уме человеческого, и указывало средства производить с ней все действия безупречно правильно, не прибегая при этом к размышлению. Эта работа очень его утомила не самим замыслом или механизмом, которые он придумал без труда, но необходимостью объяснять все это рабочим, так что он потратил два года на то, чтобы довести ее до нынешнего совершенства.

Но эта усталость и хрупкость его здоровья, сказывавшаяся уже несколько лет, вызвали у него недомогания, от которых он так и не избавился с тех пор; и он говаривал нам, что с восемнадцати лет у него не было ни дня без страданий. Недомогания эти бывали разной тяжести, и как только они давали ему передышку, его ум сразу же устремлялся на поиски чего-то нового.

В один из таких промежутков, в возрасте двадцати трех лет, увидев опыт Торричелли, он затем придумал и осуществил свой, называемый «опыт с пустотой», ясно доказывающий,

¹ Жетоны – разноцветные кружочки различного достоинства (20, 50 единиц и т. д.), с помощью которых вели счет в XVII веке.

что все явления, приписывавшиеся до того пустоте, причиной своей имеют тяжесть воздуха. Это была последняя работа в земных науках, которой он занял свой ум, и хотя впоследствии он изобрел циклоиду, в моих словах нет противоречия, потому что он нашел ее, не думая о ней и при обстоятельствах, заставляющих полагать, что он не прикладывал к тому усилий, как я бы сказала на его месте. Сразу же после того, когда ему не было еще и двадцати четырех лет, Промысел Божий представил случай, побудивший его читать благочестивые книги, и Бог так просветил его через это святое чтение, что он совершенно понял, что христианская религия требует от нас жить только для Бога и не иметь иной цели, кроме Него. Эта истина показалась ему столь очевидной, и столь обязательной, и столь благотворной, что он оставил все свои изыскания. И с тех пор он отринул все прочие познания, чтобы предаваться тому, о чем Иисус Христос сказал, что оно одно только нужно (Лк. 10, 42).

Он был до той поры особым покровительством Провидения обережен ото всех пороков молодости, и, что еще более удивительно, при его складе и направлении ума, он никогда не был склонен к вольнодумству в том, что касается религии, всегда ограничивая свою любознательность явлениями природными; и он мне не раз говорил, что это правило присоединилось у него ко всем остальным, завещанным ему отцом, который сам питал благоговение к религии, внушил его и сыну с детства и наказал ему, что все, что составляет предмет веры, не может быть предметом рассуждений.

Эти правила, часто повторявшиеся ему отцом, к которому он питал глубочайшее почтение и в котором обширные познания соединялись с умом сильным и точным, так врезались ему в душу, что какие бы речи он ни слышал от вольнодумцев, они его никак не задевали, и хотя он был еще очень молод, но считал их людьми, исповедовавшими ложную мысль о том, что разум человеческий превышает всего, и не понимавшими самой природы веры.

Так этот великий ум, столь широкий и столь исполненный любознательности, столь неустанно искавший причины и объяснения всему на свете, был в то же время покорен всем заповедям религии как ребенок. И такая простота царила в его душе всю жизнь, так что с тех самых пор, когда он решился не изучать более ничего, кроме религии, он никогда не занимался сложными теологическими вопросами и употреблял все силы своего ума на то, чтобы познавать правила христианской морали и совершенствоваться в ней, чему он посвятил все дарования, данные ему Богом, и весь остаток своей жизни не делал ничего иного, кроме как размышлял денно и ночью о законе Божиим. Но, хотя он особо и не изучал схоластику, ему были известны постановления Церкви против ересей, измышленных хитростями и заблуждениями ума человеческого; такого рода изыскания более всего его возмущали, и в это время Бог послал ему случай явить свое рвение к религии.

Он жил тогда в Руане, где наш отец был занят на королевской службе; в то время там объявился некий человек, который обучал новой философии, привлекавшей всех любопытных. Двое молодых людей, из числа друзей моего брата, зазывали его к этому человеку; он с ними пошел. Но в беседе с философом они были немало удивлены, убедившись, что, излагая им основы своей философии, он извлекал из них выводы о вопросах веры, противоречащие решениям Церкви. Он доказывал с помощью рассуждений, что тело Иисуса Христа не образовалось из крови Пресвятой Девы, и многое другое в том же духе. Они пытались возражать ему, но он стоял на своем. Обсудив между собой, как было бы опасно позволить беспрепятственно наставлять юношество человеку с такими ложными воззрениями, они решили сначала его предупредить, а если он будет упорствовать, то донести на него. Так и случилось, потому что он пренебрег их советами; тогда они сочли, что их долг – донести на него монсеньеру Дю Белле, исполнявшему тогда обязанности руанского епископа по поручению монсеньера Архиепископа. Монсеньер Дю Белле послал за этим человеком, допросил его, но был обманут двусмысленным признанием, которое тот написал собственноручно и скрепил своей подписью; впрочем, он не придавал большой важности предупреждению, исходившему от троих

молодых людей. Но как только они прочли это исповедание веры, то сразу поняли все его недомолвки, и это заставило их поехать к монсеньеру Архиепископу Руанскому в Гайон. Вникнув во все, он нашел это столь важным, что дал полномочия своему совету, а монсеньеру Дю Белле послал особое распоряжение заставить этого человека объясниться по всем статьям обвинения и ничего не принимать от него иначе, как через посредство тех, кто на него донес. Это было исполнено, и он предстал перед архиепископским советом и отрекся от всех своих воззрений; можно сказать, что он сделал это искренне, потому что никогда не выказывал обиды на тех, кому был обязан этой историей, что позволяет думать, что он сам был обманут ложными заключениями, которые выводил из своих ложных посылок. Верно также, что в этом не было злого умысла против него и никакого другого намерения, кроме как открыть глаза ему самому и помешать ему соблазнять молодых людей, которые оказались бы не способны отличать истинное от ложного в таких тонких вещах. Так эта история разрешилась благополучно. И поскольку мой брат все более погружался в поиски способов угождать Господу, эта любовь к совершенству так пылала в нем с двадцати четырех лет, что охватила весь дом. Отец, не стыдясь учиться у своего сына, стал с тех пор вести жизнь более строгую благодаря постоянным упражнениям в добродетели вплоть до самой смерти, и кончина его была совершенно христианская.

Моя сестра, наделенная дарованиями необыкновенными, снискавшими ей с детства такое громкое имя, какого нечасто добиваются и девицы много старше ее, была так тронута речами брата, что решила отказаться от всякого успеха, который до тех пор так любила, и целиком посвятить себя Богу. Поскольку она была очень умна, то, как только Бог посетил ее сердце, она поняла вместе с братом все, что он говорил о святости христианской религии, и не могла более сносить своего несовершенства, в котором, ей казалось, она пребывала в миру; она стала монахиней в обители с очень суровым уставом, в Пор-Рояле-в-Полях, и умерла там в возрасте тридцати шести лет, пройдя самые трудные послушания и утвердившись за краткий срок в таких достоинствах, каких другие достигают лишь за долгие годы.

Моему брату было тогда двадцать четыре года; его недомогания все усиливались, и дошло до того, что он не мог глотать никакой жидкости, если она не была подогрета, и то лишь по капельке. Но так как, кроме того, он страдал невыносимыми головными болями, воспалением внутренностей и многими другими недугами, то врачи велели ему очищаться через день в течение трех месяцев; ему приходилось глотать все снадобья так, как он мог, то есть подогретыми и каплю за каплей. Это была настоящая пытка, и окружавшим его было трудно даже смотреть на это; но мой брат никогда не жаловался. Он все это считал благом для себя. Ведь он не знал более иной науки, кроме науки добродетели, и, понимая, что она совершенствуется в недугах, он с радостью шел на все мучительные жертвы своего покаяния, видя во всем преимущества христианства. Он часто говорил, что прежде болезни мешали его занятиям и он страдал от этого, но что христианин должен принимать все, а особенно страдания, потому что в них познается Иисус Христос распятый, Который должен быть для христианина всей наукой и единственной славой в жизни.

Продолжительное употребление этих снадобий вместе с другими, ему предписанными, принесли некоторое облегчение, но не полное выздоровление. Врачи решили, что для полного восстановления сил он должен отказаться от всякой длительной умственной работы и, насколько возможно, искать случаев направлять свой ум на то, что его занимало бы и было бы ему приятно, то есть, одним словом, на обычные светские беседы; ведь других развлечений, подходящих для моего брата, не было. Но как заставить решиться на это такого человека, как он, которого Бог уже посетил? И вправду сначала это оказалось очень трудно. Но на него так наседали со всех сторон, что он в конце концов уступил доводам о необходимости укрепить свое здоровье: его убедили, что это сокровищница, которую Бог велел нам беречь.

И вот он оказался в свете; он не раз бывал при дворе, и опытные царедворцы замечали, что он усвоил вид и манеры придворного с такой легкостью, будто воспитывался там от рождения. В самом деле, когда он говорил о свете, то так проникательно вскрывал все его пружины, что нетрудно было себе представить, как он умел бы на них нажимать и вникать во все, что требуется, чтобы приспособиться к такой жизни, насколько он бы счел это разумным.

То было время его жизни, употребленное наихудшим образом: хотя милосердие Божие оберегло его от пороков, а все же то был мирской дух, весьма отличный от евангельского. Богу, ожидавшему от него большего совершенства, не угодно было оставлять его в таком состоянии надолго, и Он воспользовался моей сестрой, чтобы его извлечь, как некогда Он воспользовался моим братом, чтобы извлечь ее из ее мирских занятий.

С тех пор как она стала монахиней, ее пыл всякий день усиливался и все ее мысли дышали одной бесконечной святостью. Вот почему она не могла снести, что тот, кому она после Бога более всех была обязана снизошедшей на нее благодатью, не имел такой же благодати; и так как мой брат виделся с нею часто, она часто говорила об этом, и наконец слова ее обрели такую силу, что она убедила его – как он убедил ее первый – покинуть мир и все мирские разговоры, самые невинные из которых – всего лишь повторение пустяков, совершенно недостойное святости христианства, к которой мы все призваны и образец которой нам дал Иисус Христос.

Соображения здоровья, которые раньше поколебали его, показались ему теперь столь жалкими, что он сам их стыдился. Свет истинной мудрости открыл ему, что спасение души следует предпочесть всему остальному и что удовлетворяться преходящими благами для тела, когда речь идет о вечном благе для души, – это значит рассуждать ложно.

Ему было тридцать лет, когда он решился оставить свои новые мирские обязанности; начал он с того, что переменял квартал, а чтобы бесповоротно порвать со своими привычками, отправился в деревню; вернувшись оттуда после продолжительного отсутствия, он так ясно показал свое желание покинуть свет, что и свет покинул его.

Как и во всем, он и в этом хотел добраться до самого основания: его ум и сердце были так устроены, что он не мог иначе. Правила, которые он положил себе в своем уединении, были твердые правила истинного благочестия: одно – отказаться от всех удовольствий, а другое – отказаться от всякого рода излишеств.

Для исполнения первого правила он прежде всего стал, насколько возможно, обходиться без слуг и с тех пор поступал так всегда: сам стелил себе постель, обедал в кухне, относил посуду, одним словом, позволял слугам делать только то, чего никак не мог делать сам.

Обходиться вовсе без чувственных ощущений было невозможно; но когда ему приходилось по необходимости доставлять чувствам какое-то удовольствие, он удивительно искусно отвращал от него душу, чтобы она не имела тут своей доли. Мы никогда не слышали, чтобы он похвалил какое-то блюдо, которое ему подавали; а когда ему старались иногда приготовить что-нибудь повкуснее, то на вопрос, понравилось ли ему кушанье, он отвечал просто: «Надо было предупредить меня заранее, а сейчас я уже об этом не помню и, признаюсь, не обратил внимания». А когда кто-нибудь, следуя принятому в свете обычаю, восхищался вкусным кушаньем, он не мог этого выносить и называл это чувственностью, хотя это и была самая обыкновенная вещь, – «потому, – говорил он, – что это значит, что вы едите, чтобы ублажить свой вкус, что всегда дурно, либо по меньшей мере, что вы говорите тем же языком, что и люди чувственные, а это не пристало христианину, который ничего не должен говорить такого, что не дышало бы святостью». Он не позволял, чтобы ему подавали какие-нибудь соусы или рагу, ни даже апельсины или кислый виноградный сок, ничего возбуждающего аппетит, хотя от природы он все это любил.

С самого начала своего затворничества он определил количество пищи, необходимое для потребностей его желудка; и с тех пор, какой бы ни был у него аппетит, он никогда не переступал эту меру, и как бы ему ни было противно, съедал все, что себе определил. Когда

его спрашивали, зачем он это делал, он отвечал, что надо удовлетворять потребности желудка, а не аппетита.

Но умерщвление чувств не ограничивалось у него только отказом от всего, что могло быть ему приятно, как в еде, так и в лечении: он четыре года подряд принимал разные снадобья, не выказывая ни малейшего отвращения. Как только ему предписывали какое-нибудь лекарство, он начинал его принимать без усилий, и когда я удивлялась, как это ему не противно принимать такие ужасные снадобья, он смеялся надо мной и говорил, что не понимает, как это может быть противно то, что принимаешь по доброй воле и будучи предупрежден о его дурных свойствах, что такое действие должны производить только насилие и неожиданность. В дальнейшем нетрудно будет увидеть, как он применял это правило, отказываясь от всякого рода удовольствий духа, к которым могло быть причастно самолюбие.

Не менее заботился он и об исполнении другого поставленного им себе правила, вытекающего из первого, – отказываться от всякого рода излишеств. Постепенно он убрал все занавеси, покрывала и обивку из своей комнаты, потому что не считал их необходимыми; к тому же и приличия его к тому не обязывали, ибо его посещали отныне только те люди, которых он неустанно призывал к воздержанию и которые, следовательно, не удивлялись, увидев, что он живет так, как советует жить другим.

Вот как он провел пять лет своей жизни, от тридцати лет до тридцати пяти, в неустанных трудах для Бога или для ближнего, или для себя самого, стремясь ко все большему самосовершенствованию; в каком-то смысле можно сказать, что это и был весь срок его жизни, потому что четыре года, которые Бог дал ему прожить после того, были одной сплошной мукой. С ним случилась не какая-то новая болезнь, но удвоились недомогания, которыми он страдал с юности. Но тогда они набросились на него так яростно, что в конце концов его погубили; и во все это время он совсем не мог ни минуты поработать над великим трудом, который он затеял в защиту религии, не мог поддерживать людей, которые спрашивали его совета, ни устно, ни письменно: недуги его были так тяжелы, что он не мог им помочь, хотя очень этого желал.

Мы уже говорили, что он отказался от лишних визитов и вообще никого не хотел видеть.

Но поскольку люди ищут сокровища повсюду, где они есть, и Богу неуютно, чтобы свечу зажженную покрывали сосудом², то кое-кто из умных людей, знакомых ему прежде, искал его и в его уединении и спрашивал совета. Иные, которые имели сомнения в вопросах веры и знали, как он в них сведущ, также обращались к нему; и те, и другие – а многие из них живы – всегда возвращались удовлетворенными и свидетельствуют по сей день, при каждом случае, что это его разъяснениям и советам они обязаны тем добром, которое знают и делают.

Хотя он вступал в такие беседы только из милосердия и бдительно следил за собой, чтобы не растерять того, чего пытался достичь в своем затворничестве, они были ему все-таки тяжелы, и он опасался, как бы тщеславие не заставило его находить удовольствие в этих беседах; а его правилом было – не допускать таких удовольствий, в которых тщеславие было бы хоть как-то замешано. С другой стороны, он не полагал себя вправе отказывать этим людям в помощи, в которой они нуждались. Отсюда в нем проистекала борьба. Но дух самоумаления, который и есть дух любви, все примиряющий, пришел ему на помощь и внушил завести железный пояс, весь утыканный шипами, и надевать его прямо на голое тело всякий раз, когда ему докладывали, что какие-то господа его спрашивают. Он так и сделал, и когда в нем просыпался дух тщеславия или когда он испытывал какое-то удовольствие от беседы, то прижимал его к себе локтем, чтобы усилить боль от уколов и так напомнить себе о своем долге. Такой обычай показался ему столь полезным, что он прибегал к нему и для того, чтобы предохранять себя от праздности, к которой был принужден в последние годы своей жизни. Поскольку он не мог ни

² Имеются в виду евангельские слова: «Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет» (Лк. 8,16).

читать, ни писать, то ему приходилось предаваться безделью и отправляться на прогулку, не имея возможности думать о чем-либо связно. Он справедливо опасался, как бы такое отсутствие занятий, которое есть корень всякого зла, не отвратило его от его воззрений. И чтобы всегда быть начеку, он словно вживил в свое тело этого добровольно приглашенного врага, который, вгрызаясь в его плоть, беспрестанно побуждал его дух к бодрости и тем давал ему возможность верной победы. Но все это держалось в такой тайне, что мы ничего не знали, а стало нам это известно только после его смерти от одного весьма добродетельного человека, которого он любил и которому обязан был об этом сказать по причинам, касавшимся самого этого человека.

Все то время, которое не отнимали у него дела милосердия, подобные тем, о каких мы рассказали, он отдавал молитвам и чтению Священного Писания. Это было словно средоточие его сердца, где он находил всю радость и весь покой своего уединения. У него и вправду был особенный дар вкушать благо таких двух драгоценных и святых занятий. Можно даже сказать, что для него они не различались: молясь, он размышлял о Священном Писании. Он часто говорил, что Священное Писание – наука не для ума, а для сердца, что она понятна только тем, у кого сердце чистое, а все остальные видят в нем только тьму, что покров, скрывающий Писание от иудеев, скрывает его и от дурных христиан, и что любовь – не только предмет Писания, но и врата в него. Он заходил еще дальше и говорил, что способность постигать Священное Писание приходит к тем, кто ненавидит самих себя и любит умерщвленную жизнь Иисуса Христа. В таком расположении духа он читал Священное Писание и делал это столь прилежно, что знал его почти все наизусть, так что ему нельзя было привести неверную цитату, и он мог с уверенностью сказать: «Этого нет в Писании» или «Это там есть», – и точно называл место и знал по сути все, что могло быть ему полезно для совершенного понимания всех истин как веры, так и морали.

У него был такой замечательный склад ума, который украшал все, что он говорил; и хотя он многие вещи узнал из книг, но переваривал их по-своему, и они казались совершенно иными, потому что он всегда умел изъясняться так, как следовало, чтобы они проникли в ум другого человека.

У него был необыкновенный склад ума от природы; но он создал для себя совершенно особые правила красноречия, которые еще усиливали его дарование. Это вовсе не было то, что называют блестящими мыслями и что на самом деле есть фальшивый бриллиант и ничего не означает: никаких громких слов и очень мало метафорических выражений, ничего ни темного, ни грубого, ни кричащего, ни пропущенного, ни лишнего. Но он понимал красноречие как способ выражать мысли так, чтобы те, к кому обращаются, могли их схватывать легко и с удовольствием; и он полагал, что это искусство состояло в некоем соотношении между умом и сердцем тех, к кому обращаются, и мыслями и выражениями, которыми пользуются, но эти соотношения связываются воедино должным образом, только если им придать подобающий поворот. Вот почему он внимательно изучал сердце и ум человека: он прекрасно знал все их пружины. Когда он размышлял о чем-нибудь, то ставил себя на место тех, кто будет его слушать, и, проверив, все ли соотношения тут налицо, он искал затем, какой поворот надо им придать, и удовлетворялся лишь тогда, когда видел несомненно, что одно так соответствовало другому, то есть что он думает как бы умом своего будущего собеседника, что когда наступало время всему этому соединиться в разговоре, то уму человеческому невозможно было не принять его доводы с удовольствием. Из малого он не делал великого, а из великого – малого. Ему недостаточно было, что фраза казалась красивой; она должна была еще и соответствовать своему предмету, чтобы в ней не было ничего лишнего, но также и ничего недостающего. Одним словом, он настолько владел своим стилем, что мог выразить все, что хотел, и его речь всегда производила то впечатление, которое он и задумал. И эта манера письма, одновременно простая, точная, приятная и естественная, была так ему свойственна и так не похожа на других,

что едва появились «Письма к провинциалу», как все угадали, что они написаны им, как он ни старался это скрыть даже от своих близких.

В то время Богу было угодно исцелить мою дочь от слезной фистулы, которой она страдала три с половиной года. Фистула эта была такого дурного свойства, что искуснейшие хирурги в Париже сочли ее неизлечимой; и наконец Бог взял на Себя ее исцеление через прикосновение к Святому Тернию, хранящемуся в Пор-Рояле, и это чудо было засвидетельствовано многими хирургами и врачами и подтверждено торжественным решением Церкви.

Дочь моя была крестницей моего брата; но более всего он был потрясен этим чудом потому, что Бог в нем прославился, и потому, что оно случилось в такое время, когда вера у большинства людей ослабела. Радость его была так велика, что он был весь ею пронизан; а поскольку он всегда глубоко размышлял обо всем, чем бы ни был занят его ум, то в связи с этим отдельным чудом ему пришли в голову многие весьма важные мысли о чудесах вообще, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Если существуют чудеса, значит, есть нечто выше того, что мы зовем природой. Отсюда по здравому смыслу следует: надо только убедиться в достоверности и подлинности чудес. А для этого есть правила, вытекающие опять-таки из здравого смысла, и эти правила оказываются верны для чудес Ветхого Завета. Следовательно, эти чудеса истинны; следовательно, есть нечто выше природы.

Но эти чудеса сопровождаются еще и знамениями того, что они исходят от Бога; особенно чудеса Нового Завета свидетельствуют, что Тот, Кто их совершил, – Мессия, Которого люди должны были ожидать. Итак, чудеса и Ветхого, и Нового Завета доказывают, что Бог есть, а чудеса Нового Завета особо доказывают, что Иисус был истинный Мессия.

Он излагал все это необыкновенно разумно, и когда мы слушали, как он рассказывает обо всех обстоятельствах, при которых были засвидетельствованы эти чудеса в Ветхом и Новом Завете, они нам казались ясны. Нельзя было отрицать истинности этих чудес, а также выводов, которые он из них извлекал для доказательства Бога и Мессии, не нарушая самых общих правил, по которым судят о достоверности всех вещей, почитаемых несомненными. Кое-что из его мыслей об этом было собрано; но это совсем немного, и я полагала бы себя обязанной рассказать об этом поподробней и пролить на то больше света согласно всему, что мы от него слышали, если бы один из его друзей не показал нам трактата о книгах Моисеевых, где все это было изложено замечательно и таким слогом, который не был бы недостоин моего брата. Я вас отсылаю к этому труду; добавлю только – и это важно здесь заметить, – что разнообразные мысли моего брата о чудесах ему многое открыли о религии. Поскольку все эти истины следуют одна из другой, ему достаточно бывало задуматься об одной, а другие словно приходили к нему толпой и являлись его уму так, что возвышали его самого, как он нам часто говорил; при подобных обстоятельствах он и возгорелся против атеистов настолько, что, увидев при свете мудрости, ниспосланной ему Богом, как их убедить и разбить бесповоротно, он и затеял этот труд, сохранившиеся части которого дают нам такие основания сожалеть, что он не собрал их сам и не составил из них, вместе с тем, что он мог бы еще добавить, сочинения законченной красоты. Без сомнения, он был на это способен, но Бог, одаривший его разумом, необходимым для столь великого замысла, не дал ему достаточно здоровья, чтобы довести этот замысел до совершенства.

Он намеревался доказать, что у христианской религии столько же свидетельств истинности, сколько и у любой вещи, считающейся в мире самой достоверной. Он не прибегал для этого к метафизическим аргументам; это не значит, что он ими пренебрегал, когда они были уместны. Но он говорил, что они очень далеки от обычного человеческого разумения, что не все к ним способны и что тем, кто способен, они годятся лишь на краткий миг, а час спустя они уже не знают, что об этом сказать, и боятся быть обмануты. Он говорил также, что такого рода доказательства могут привести нас лишь к рассудочному знанию Бога, а знать Его таким образом означает не знать Его вовсе. Он старался не прибегать и к обыденным доводам, взятым из

тварной природы; он их ценил, потому что они освящены Писанием и согласуются с разумом, но полагал, что они несообразны расположению ума и сердца тех, кого он замыслил убедить. Он знал по опыту, что таким способом не только их не осилить, но и нет ничего лучше, напротив, чтобы их отвратить и лишить надежды найти истину, чем пытаться их убедить только такого рода рассуждениями, против которых они зачастую так ожесточаются, что огрубление сердец делает их глухими к подобному голосу природы и что они пребывают в ослеплении, от которого могут избавиться только через Иисуса Христа, а вне Его никакого общения с Богом нам не дано, ибо написано, что Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.

Христианское Божество не сводится просто к Богу – зиждителю математических истин и миропорядка: это участь язычников. Оно не сводится к Богу, простирающему промысел Свой на жизнь и имение человеческие, чтобы посылать череду счастливых лет: это удел иудеев. Но Бог Авраама и Иакова, Бог христиан есть Бог любви и утешения; это Бог, наполняющий душу тех, кто Его нашел. Это Бог, Который зарождает внутри них ощущение их ничтожества и Его бесконечного милосердия, Который соединяется с ними в глубине их душ, наполняет их смирением, верой, надеждой и любовью, делает их неспособными стремиться к иной цели, кроме Него Самого.

Бог христиан – это Бог, помогающий душе понять, что Он – ее единственное благо, что только в Нем ее покой, что у нее не будет иной радости, кроме как любить Его, и вместе с тем внушающий ей ужас перед всеми препятствиями, которые ей мешают любить Его изо всех сил. Себялюбие и похоть, удерживающие душу, Ему невыносимы, и Он открывает душе, какие глубины себялюбия в ней таятся и что Он один может ее исцелить.

Вот что значит познавать Бога по-христиански. Но чтобы так Его познавать, нужно знать одновременно и свою ничтожность, и недостойность, и свою нужду в посреднике, помогающем приблизиться к Богу и соединиться с Ним. Эти знания нельзя разделять, потому что одно без другого они не только бесполезны, но и вредны. Знание Бога без знания нашей ничтожности порождает гордыню; знание нашей ничтожности без Иисуса Христа порождает отчаяние. Но познание Иисуса Христа нас избавляет от гордыни и отчаяния, потому что в нем мы находим Иисуса Христа, единственного утешителя в нашей ничтожности и единственный путь из нее спастись.

Мы можем знать Бога, не зная нашей ничтожности, или нашу ничтожность, не зная Бога, или даже знать и Бога, и нашу ничтожность, не зная способа освободиться от несчастий, нас удручающих. Но мы не можем знать Иисуса Христа, не зная вместе и Бога и нашу ничтожность, ибо Он не просто Бог, но Бог – исцелитель наших несчастий.

Итак, все, кто ищет Бога без Иисуса Христа, не находят той мудрости, которая утолила бы их жажду или была бы им действительно полезна, потому что они либо не доходят до понимания того, что есть Бог, либо если доходят, то это для них бесполезно, так как они пытаются создать для себя возможность общаться без посредника с тем Богом, которого познали без посредника, то есть впадают в атеизм и деизм – две вещи, почти одинаково мерзостные для христианской религии.

Поэтому следует стремиться только к познанию Иисуса Христа, ибо только через Него мы можем надеяться познать Бога так, чтобы нам это было полезно. Это Он – истинный Бог людей, несчастных и грешных; Он – средоточие всего и цель всего, и, кто Его не знает, тот ничего не знает ни о природном миропорядке, ни о себе самом, ибо мы не только Бога познаем единственно через Иисуса Христа, но и самих себя познаем единственно через Иисуса Христа.

Без Иисуса Христа человек пребывает в пороке и ничтожестве; с Иисусом Христом человек избавляется от порока и ничтожества. В Нем все наше блаженство, наша добродетель, жизнь, мудрость, надежда, а без Него есть только пороки, несчастья, мрак и отчаяние, и мы видим только тьму и беспорядок в Божией природе и в нашей собственной. Это в точности его слова, и я подумала, что должна их привести здесь, потому что они замечательно показывают,

в каком духе писался его труд и что тот способ, каким он хотел за него приняться, был без сомнений наилучший для того, чтобы произвести впечатление на сердца людей.

Одним из важнейших правил красноречия, которое он себе поставил, было не только не говорить ничего непонятного или неудобопонятного, но и говорить такие вещи, которые брали бы за живое его собеседников; он был уверен, что тогда хотя бы себялюбие непременно заставит задуматься над тем, что он говорит; к тому же, поскольку все на свете нас может задевать двояко – либо огорчать, либо утешать, то он полагал, что никогда не следует огорчать тем, в чем не можешь утешить, и что в должном равновесии и заключается секрет красноречия.

И потому среди своих доказательств в защиту Бога и христианской религии он желал прибегать лишь к таким, которые были бы доступны всем, для кого предназначались, и которые задевали бы человека за живое либо тем, что он находил в себе самом все, на что ему указывали, доброе ли, дурное ли, либо ясно видел, что наилучшим и разумнейшим решением для него было бы поверить, что есть Бог, Которого мы можем познать, и Посредник, Который, придя заслужить для нас эту благодать, начинает с того, что делает нас счастливыми в этой жизни через добродетели, Им внушаемые, и счастье это много больше всего, что мир нам обещает, и уверяет, что мы получим совершенное блаженство на небесах, если его заслужим на тех путях, которые Он нам указывает и на которых Сам подаст нам пример.

Но хотя он был уверен, что все, что он имел сказать о религии, было очень ясно и убедительно, он все же сомневался, что это так для тех, кто пребывает равнодушным и кто, не находя в самих себе доводов, которые их бы убедили, пренебрегает искать их вовсе и в особенности в Церкви, где они необыкновенно наглядны. Ибо он держал за две несомненные истины, что Бог дал видимые знамения прежде всего Церкви, чтобы Его могли познать те, кто ищет Его искренне, и в то же время сокрыл их так, чтобы Его могли увидеть только те, кто ищет Его всем сердцем.

Вот почему, беседуя с атеистами, он никогда не начинал ни со спора, ни с утверждения основ того, о чем собирался говорить, но старался прежде всего выяснить, ищут ли они истину всем сердцем, и сообразно этому вел себя с ними – либо помогая им найти то знание, которого у них не было, если они искренне его искали, либо побуждая их его искать и сделать эти поиски своим главным занятием, прежде чем наставлять их, если они желали, чтобы эти наставления пошли им на пользу. Работать дальше над своим замыслом ему помешали недуги. Ему было около тридцати четырех лет, когда он начал этим заниматься; целый год он употребил на подготовку; насколько позволяли ему другие дела, он собирал мысли об этом, приходившие ему в голову; но к концу года, то есть на тридцать пятом году жизни, который был пятым годом его затворничества, недомогания его усилились так губительно, что он не мог больше ничего делать в оставшиеся ему четыре года жизни, если можно назвать жизнью те ужасные мучения, в которых он их провел.

Нельзя думать об этом труде без острой боли оттого, что самая прекрасная и, быть может, самая полезная для нынешнего времени вещь осталась незаконченной. Не посмею сказать, что мы были ее недостойны. Как бы то ни было, Богу стало угодно показать этим, если можно так выразиться, наброском, на что был способен мой брат благодаря величию ума и дарований, которые Он ему послал; и если бы этот труд мог быть закончен кем-нибудь другим, то я полагаю: такую милость можно было бы снискать только множеством новых молитв.

Это возвращение недугов у моего брата началось с зубной боли, совершенно лишившей его сна. Но как может такой ум, как у него, бодрствовать и ни о чем не думать? Вот отчего во время бессонницы, которая случалась у него очень часто и очень его изнуряла, ему однажды ночью пришли в голову кое-какие мысли о циклоиде. За первой мыслью последовала вторая, за второй – третья; наконец, множество мыслей сменили одна другую. Они ему открыли как бы без его воли решение циклоиды, удивившее его самого. Но поскольку он давно уже отказался от подобных вещей, то даже не подумал что-то записать. Все же он рассказал об этом одному

человеку, с чьим мнением обязан был считаться как из уважения к его достоинствам, так и из благодарности за сердечную привязанность, которой тот его почтил; у этого человека появился замысел, имевший своей целью лишь славу Божию, и он склонил моего брата написать все, что пришло ему в голову, и отдать это напечатать.

Невероятно, с какой быстротой он занес это на бумагу; он писал с такой скоростью, с какой двигалась его рука, и закончил все в несколько дней. Копии он не снимал, но отдавал листки по мере готовности. В то время печатали и другой его труд, который он тоже отдавал в печать по ходу дела; так он поставлял печатникам два разных сочинения. Это не было слишком трудно для его ума, но тело его не выдерживало, и это было последнее напряжение сил, окончательно разрушившее его здоровье и вызвавшее то мучительное состояние, о котором мы говорили, когда он не мог глотать.

Но если его недомогания лишили его возможности служить другим, то они не были бесполезны для него самого, ибо он переносил их так терпеливо, что это дает основания думать – и утешаться этой мыслью, – что Богу было угодно через это сделать его таким, каким Он хотел увидеть его перед Собой. И правда, он помышлял только об этом, и никогда не забывая двух правил, которые себе предписал – отказаться от всяких удовольствий и от всяких излишеств, – он исполнял их с еще большим рвением, словно его торопило время милосердия, с предчувствием, что он приближается к тому средоточию, где будет вкушать вечный покой.

Но ниоткуда нельзя лучше узнать то особое расположение духа, с каким он переносил все новые страдания в эти четыре года своей жизни, как из удивительной «Молитвы», которую мы от него узнали и которую он написал в то время, «об употреблении болезней во благо». Не может быть сомнений, что эти мысли жили в его сердце, потому что они появились в его уме и он их записал только после того, как воплотил их на деле. Мы можем даже заверить, что были тому свидетелями и что если никто не мог лучше написать об употреблении болезней во благо, никто не мог и осуществить такие мысли с большей поучительностью для всех, кто это видел.

За несколько лет до того он написал письмо по случаю смерти моего отца, из которого видно его мнение о том, что христианин должен смотреть на земную жизнь как на жертвоприношение, а разные приключаящиеся с нами события должны нас задевать лишь в той мере, в какой они прерывают или довершают это жертвоприношение. Вот почему предсмертное состояние, в каком он был обречен пребывать в последние годы его жизни, стало средством исполнить то жертвоприношение, которое должно было совершиться через его смерть. Он принимал это мучительное состояние с радостью, и мы видели всякий день, как он благословлял за него Бога со всей силой благодарности. Когда он говорил с нами о смерти, которую полагал ближе, чем она впоследствии оказалась, то всегда говорил и об Иисусе Христе, что смерть без Иисуса Христа ужасна, а в Иисусе Христе сладостна, свята, радостна для верующего; что поистине, если б мы были невинны, страх смерти был бы разумен, потому что это противно природному порядку, чтобы каралась невинность; что было бы справедливо ее ненавидеть, если б она могла разлучить святую душу со святым телом. Но что теперь справедливо ее любить, так как она разлучает святую душу с нечистым телом; что было бы справедливо ее ненавидеть, если б она нарушала мир между душой и телом, но не сейчас, когда она улаживает непримиримую ссору между ними, лишает тело злосчастной способности грешить и ставит душу перед блаженной необходимостью делать только одно – хвалить Бога и пребывать с Ним в вечном союзе. Что не следует, однако, осуждать любовь к жизни, внушенную нам природой, потому что мы получили ее от Самого Бога; что надо ее употреблять на ту жизнь, для которой Бог нам ее и дал, на жизнь чистую и блаженную, а не на нечто противоположное. Что Иисус Христос любил свою жизнь, потому что она была чиста, что Он страшился смерти, потому что в Нем она грозила телу, угодному Богу. Но что поскольку это не так с нашей жизнью, которая есть жизнь в грехе, то мы должны склонять себя ненавидеть эту жизнь, противоположную Христовой, и любить смерть и не страшиться ее, ведь она обрывает нашу жизнь, исполненную греха и мучений, и

тем дарит нам свободу вместе с Иисусом Христом созерцать Бога, поклоняться Ему, благословлять и любить Его вечно и безоглядно.

По этой же причине он так любил покаяние; он говорил, что надо наказывать грешное тело, и наказывать его беспощадно непрерывным покаянием, потому что иначе оно бунтует против разума и противится всем спасительным мыслям. Но поскольку у нас не хватает храбрости наказывать самих себя, то мы должны полагать себя весьма обязанными Богу, когда Ему бывает угодно это сделать; вот почему он постоянно благословлял ниспосланные ему страдания, которые считал как бы огнем, выжигающим понемногу его грехи в каждодневном жертвоприношении и тем приуготовляющим его, пока Богу не будет угодно послать ему смерть, в которой будет принесена жертва совершенная.

Он всегда так любил бедность, что неизменно старался не расставаться с ней; и когда он собирался что-то предпринять или когда у него спрашивали совета, то первая мысль, приходившая из сердца к рассудку, была о том, можно ли при этом пребывать в бедности. Но к концу жизни любовь его к этой добродетели столь возросла, что я не могла доставить ему большего удовольствия, чем побеседовать с ним о ней и послушать то, что он всегда был готов нам об этом сказать.

Он никогда никому не отказывал в милостыне, хотя сам был небогат и расходы, которых требовали его недуги, превышали его доходы. Он всегда давал милостыню, отказывая себе в необходимом. Но когда ему на это указывали, в особенности когда его траты на милостыню бывали очень велики, он огорчался и говорил нам: «Я заметил, что как бы ни был человек беден, после его смерти всегда что-то остается». Порой он заходил так далеко, что ему приходилось занимать на жизнь и брать в долг с процентами, чтобы иметь возможность раздавать бедным все, что у него было; после этого он ни за что не хотел прибегать к помощи друзей, потому что он взял себе за правило никогда не считать чужие нужды обременительными для себя, но всегда остерегаться обременять своими нуждами других.

Как только пошло дело с каретами³, он мне сказал, что хочет получить тысячу ливров вперед в счет его доли, чтобы послать беднякам города Блуа и окрестностей, которые терпели тогда большую нужду. А когда я сказала, что дело еще не наладилось и нужно бы подождать еще год, он мне ответил, что не видит в том большой беды, потому что, если его компаньоны понесут убытки, он им возместит из своих денег, и что он не может ждать до следующего года, потому что нужда слишком уж неотложна. Но в один день ничего не делается, и беднякам из Блуа помогли другие, а мой брат в том участвовал только своей доброй волей; это подтверждает истинность того, что он нам столько раз говорил, – что деньги ему нужны лишь для того, чтобы помогать бедным; ведь как только ему казалось, что он может их получить, он начинал распределять их заранее, даже не будучи еще в них уверен.

Не следует удивляться, что тот, кто так хорошо познал Иисуса Христа, так любил бедных и что ученик отдавал даже необходимое, ибо он хранил в сердце своем пример Учителя, Который отдал Себя Самого. Но правило, которое он себе поставил, – отказаться от всяких излишеств – стало у него основанием великой любви к бедности. То, на что он обращал особое внимание ввиду этого правила, – это всеобщее желание превосходства во всем, которое особенно пробуждает в нас жажду в обращении с мирскими вещами всегда иметь наилучшие из них, самые красивые и самые удобные. Вот почему он не выносил, когда звали самых искусных рабочих, но говорил нам, что искать надо всегда самых бедных и самых порядочных и отказаться от этой особой искусности, которая никогда не бывает необходима; он также весьма порицал тех, кто так заботливо окружает себя всяческими удобствами, – чтобы все было под рукой, чтобы в комнате было все, что нужно, и прочее в таком роде, что люди делают без вся-

³ Речь идет о предприятии, которым Паскаль занимался незадолго до смерти – открытии в Париже первого маршрута общественного транспорта, по которому двигались кареты.

ких угрызений; ибо, основываясь на самой сути духа бедности, который должен жить во всех христианах, он полагал, что все ему противоречащее, даже если оно узаконено мирскими обычаями и приличиями, – это непременно излишество, потому что мы от этого отказались при крещении. Он воскликнул однажды: «Будь я нищ сердцем так же, как и духом, я был бы счастлив; я необычайно верю в дух бедности и в то, что следование этой добродетели есть великое средство для спасения души».

Все эти слова заставляли нас заглянуть себе в душу и порой побуждали нас искать каких-то общих правил, которые годились бы на все случаи, и мы делали ему такие предложения. Но он этого не одобрял и говорил нам, что мы призваны не к общему, но к частному, и что, по его мнению, самый угодный Богу способ служить нищим – это служить нищим по-нищенски, то есть в меру своих сил, не предаваясь великим замыслам, родственным тому превосходству, жажду которого он обличал во всем: и в мыслях, и в делах. Он не порицал учреждения крупных больниц, но говорил, что такие великие предприятия должны быть уделом немногих людей, которых Бог к тому предназначил и которых Он ведет невидимой рукой, но что это не призвание всякого человека, в отличие от повседневной помощи каждому бедняку по отдельности.

Он очень желал, чтобы я посвятила себя постоянному служению им, чтобы я наложила его на себя в наказание за свою жизнь. Он настойчиво убеждал меня и самой поступать так, и детям это внушить. А когда я говорила, что боюсь, как бы это не помешало мне заботиться о домашних, он отвечал, что мне недостает только доброй воли и что так как есть несколько степеней в следовании этой добродетели, то всегда можно найти для нее время, не поступаясь своими семейными обязанностями, что само милосердие внушает его дух и надо только ему повиноваться. Он говорил, что не нужно никакого особого знамения, чтобы узнать, призван человек или нет, что это общее призвание для всех христиан; коль скоро Иисус Христос по таким вещам будет судить мир, то достаточно и обычных нужд, чтобы мы старались их удовлетворить всеми средствами, которые в нашей власти; и что, поскольку из Евангелия видно, что единое небрежение этим долгом может стать причиной вечной гибели, одна мысль об этом должна нас подвигать совлечь с себя все и стократ отдать самих себя, если есть у нас вера. Еще он говорил нередко, что посещать бедных необыкновенно полезно, потому что когда постоянно видишь перед собой удручающую их нищету и то, что они часто не имеют самого необходимого, то надо быть очень уж черствым, чтобы не отказаться добровольно от бесполезных удобств и излишних украшений. Вот лишь часть наставлений, которые он нам давал, чтобы возбудить в нас любовь к бедности, занимавшую в его сердце столь важное место.

Не меньшим было и его целомудрие, ибо он так почитал эту добродетель, что постоянно был настороже, стараясь не допустить, чтобы она хоть как-то была оскорблена, в нем ли самом или в других. Трудно поверить, как он был строг в таких вещах. Поначалу это даже приводило меня в замешательство, потому что он осуждал едва ли не все речи, которые говорятся в свете и считаются невиннейшими. Если, к примеру, мне случалось сказать, что я встретила красивую женщину, он корил меня за это и говорил, что я не должна была произносить таких слов при лакеях и молодых людях – ведь я не знаю, какие мысли это может в них возбудить. Смеем сказать, что он не мог даже выносить тех ласк, которыми дарили меня мои дети. Он утверждал, что это может им только повредить, что нежность можно выразить и тысячей других способов. С этим его советом мне было труднее согласиться, но впоследствии я поняла, что он был в этом прав, так же как и во всем остальном, и узнала на опыте, что хорошо сделала, послушавшись его.

Все это происходило в домашнем кругу; но месяца за три до его смерти Богу было угодно предоставить ему случай проявить и вне дома ту ревностную заботу о целомудрии, которую Он ему внушил. Однажды, возвращаясь из Сен-Сюльпис, где он присутствовал на мессе, он наткнулся на девушку лет пятнадцати, попросившую у него милостыню. Он сразу же подумал о той опасности, которой она подвергалась, и узнав от нее, что она из деревни, что отец ее умер,

что в тот самый день мать ее свезли в Отель-Дьё⁴, так что эта бедная девушка осталась одна и не знала, что делать, он подумал, что это Бог ее послал ему, и тут же отвел ее в семинарию, где поручил ее заботам доброго священника, которому он дал денег и попросил найти для нее какое-нибудь место, где она была бы в безопасности. И чтобы помочь ему в этих хлопотах, он сказал, что завтра же пошлет к нему женщину, которая купит для этой девушки одежду и все необходимое. И действительно, он послал женщину, которая так славно потрудилась с этим священником, что вскоре они приискали ей хорошее место. Священник этот не знал имени моего брата и сначала не догадался его спросить, так он был занят заботами об этой девушке. Но когда она была пристроена, он смог обдумать этот поступок и нашел его столь прекрасным, что пожелал узнать имя того, кто его совершил. Он справился у той женщины, но она сказала, что ей велено его скрывать. «Молю вас, добейтесь разрешения его открыть; обещаю, что не буду говорить об этом при его жизни. Но, если Богу будет угодно, чтобы он умер прежде меня, для меня будет большим утешением рассказать об этом поступке, ибо я нахожу его столь прекрасным и достойным известности, что не смогу допустить, чтобы он пребывал в забвении». Но он ничего не добился и так увидел, что этот человек, пожелавший остаться неизвестным, был столь же скромн, сколь милосерден, и что если он так ревностно старался сберечь чужое целомудрие, то не менее ревностно он оберегал собственное смирение.

Он питал особенную нежность к своим друзьям и к тем, кого полагал посвятившими себя Богу; можно сказать, что если никто не был более его достоин любви, то никто и не умел любить и выказывать любовь лучше, чем он. Но нежность его проистекала не только из склада его души; хотя сердце его всегда было готово сострадать всем нуждам его друзей, сострадание его всегда согласовалось с правилами христианства, которые предоставляли ему разум и вера: вот почему его нежность никогда не переходила в глубокую привязанность и не приносила никаких утех.

Никого он не любил больше, чем мою сестру, – и по справедливости. Он часто с ней виделся; он говорил с ней обо всем совершенно откровенно; во всем без исключения она давала ему то, чего он хотел, ибо их мнения совпадали настолько, что они во всем были согласны; два их сердца определенно составляли одно, и они находили друг в друге утешение, которое могут понять лишь те, кому выпадало подобное счастье и кому известно, что значит любить и быть любимым с таким взаимным доверием, без всякого страха раздоров и при полном согласии.

И однако по смерти моей сестры, случившейся за десять месяцев до его кончины, когда он узнал эту новость, то сказал только одно: «Да пошлет нам Бог милость умереть столь же христианской смертью!» И впоследствии он говорил нам лишь о милостях, которые посылал ей Бог при жизни, и об обстоятельствах и времени ее смерти; и возносясь сердцем к небесам, где, он надеялся, она пребывала в блаженстве, он говорил нам с каким-то восторгом: «Блаженны умирающие, и умирающие во Господе». А когда он видел мою скорбь (я действительно очень горевала из-за этой утраты), то огорчался и говорил, что это нехорошо и что не следует испытывать такие чувства по смерти праведников, но что, напротив, мы должны возносить Богу хвалы за то, что Он так скоро вознаградил ту скромную службу, которую она для Него несла.

Так он показывал, что любил без привязанности, и мы имели тому еще одно доказательство. Когда умер мой отец, несомненно вызывавший у него все чувства, которые благодарный сын обязан питать к столь любящему отцу, из письма, написанного им по случаю отцовской кончины, видно, что если природа и была задета, то разум быстро взял верх, и что, взирая на это событие в лучах веры, душа его умилялась, но не для того, чтобы оплакивать отца, утраченного на земле, но чтобы созерцать его в Иисусе Христе, в Котором он обретал его на небесах.

Он различал два вида любви, чувствительную и разумную, полагая, что первая не слишком полезна в мирской жизни. Он говорил также, что достоинства тут ни при чем и что поря-

⁴ Отель-Дьё – самая старинная больница Парижа рядом с Собором Парижской Богоматери.

дочные люди должны ценить лишь разумную любовь, которая, по его мнению, состоит в том, чтобы принимать участие во всем, что случается с нашими друзьями, всеми способами, какими разум велит нам это делать, жертвуя своим именем, удобствами, свободой и самой жизнью, если повод того достоин, и достоин несомненно, если мы этим служим другу во имя Бога, Который должен быть единственным предметом любви для всех христиан.

«Черство то сердце, – говорил он, – которое знает нужды ближнего и противится долгу, побуждающему принять в них участие; и наоборот, нежное сердце – то, в которое все нужды ближнего проникают легко, так сказать, через все чувства, которые разум велит питать друг к другу в подобных обстоятельствах; которое радуется, когда нужно радоваться, и огорчается, когда нужно огорчаться». Но он прибавлял, что любовь может быть совершенна лишь тогда, когда разум просвещен верой и предписывает нам действовать по правилам милосердия. Вот почему он не видел большой разницы между любовью и милосердием, равно как и между милосердием и дружбой. Он думал только, что поскольку дружба предполагает связь более тесную, а эта связь – внимание более пристальное, то мы менее черствы к нуждам наших друзей, потому что нужды эти нам становятся быстрее известны и нам легче в них поверить.

Вот как он понимал любовь, и сам он питал такую, которая не сочеталась ни с привязанностью, ни с утехами; ведь коль скоро христианская любовь не может иметь иного предмета, кроме Бога, то она не может ни привязываться к кому-либо, кроме Него, ни предаваться утехам, ибо знает, что нельзя терять времени и что Бог, Который все видит и судит, велит нам дать отчет во всем, что случилось в нашей жизни и что не было еще одним шагом по единственно дозволенному пути – по пути к совершенству.

Но он не только сам не привязывался к другим, он не хотел также, чтобы другие привязывались к нему. Я не говорю о привязанностях преступных и опасных, это вещь грубая и для всех очевидная; но я говорю о самой невинной дружбе, чье веселье составляет обычно всю сладость человеческого общества. Это было одно из тех правил, которые он соблюдал особенно строго, чтобы не поддаваться подобным чувствам и не давать им воли, как только он замечал малейшие их признаки; а так как я была весьма далека от такого совершенства и полагала, что не могу слишком много заботиться о таком брате, как он, составлявшем счастье семьи, то старалась не упустить ничего, чем могла бы ему послужить, и выражала ему свою любовь как умела. Наконец я поняла, что была к нему привязана, и ставила себе в заслугу, что справлялась со всеми заботами, которые почитала своим долгом; но он судил иначе, и так как мне казалось, что он изъявляет недостаточно чувств в ответ на мои, то меня это огорчало, и время от времени я ездила изливать душу сестре и чуть ли не жаловалась ей. Она утешала меня, как могла, напоминая о тех случаях, когда я нуждалась в брате и он помогал мне с таким рвением и с такой нежностью, что у меня не должно было остаться никаких оснований сомневаться в его любви. Но тайна его сдержанного обращения со мной открылась мне полностью только в день его смерти; один человек, замечательный величием ума и благочестием, с которым он много беседовал о добродетельной жизни, сказал мне, что он всегда представлял ему основным правилом своего благочестия – не позволять, чтобы его любили, привязываясь, что это грех, к которому люди недостаточно бдительны, но который имеет тяжкие последствия и которого следует тем более страшиться, что он часто представляется не столь опасным.

После его смерти мы получили еще одно доказательство того, что это правило задолго до того жило в его сердце; чтобы оно всегда было с ним, он собственноручно написал его на клочке бумаги, который мы нашли на нем и узнали в нем тот самый, который он часто читал. Вот что в нем было сказано: «Грешно, чтобы люди привязывались ко мне, даже если они это делают с радостью и по доброй воле. Я обманул бы тех, в ком зародил бы такое желание, ибо я не могу быть целью для людей, и мне нечего им дать. Разве не должен я умереть? И тогда со мной вместе умрет предмет их привязанности. Как был бы я виновен, убеждая поверить лжи, даже если б я это делал с кротостью, а люди верили бы радостно и тем радовали меня, – так я

виновен, внушая любовь к себе. И если я привлекаю к себе людей, я должен предупредить тех, кто готов принять ложь, что они не должны в нее верить, какие бы выгоды мне это ни сулило; и точно так же – что они не должны привязываться ко мне, ибо им следует тратить свою жизнь и труды на угождение Богу или поиски Его».

Так он наставлял самого себя и прекрасно исполнял свои наставления. И так я ошибалась, выводя подобные заключения из его обращения со мной, потому что принимала за недостаток любви то, что было в нем совершенством милосердия.

Но если он не хотел, чтобы создания, которые сегодня живут, а завтра, быть может, исчезнут, и которые к тому же столь малоспособны делать себя счастливыми, привязывались друг к другу, то это затем, чтобы они привязывались к одному лишь Богу; и действительно, порядок таков, иначе и нельзя судить, если подумать серьезно и с желанием следовать истинной мудрости. Вот почему не стоит удивляться, что тот, кто был так мудр и содержал свое сердце в таком порядке, принимал для себя столь благочестивые правила и исполнял их столь неукоснительно.

И так он относился не только к этому первейшему правилу, которое есть основание христианской морали; он так ревностно защищал установленный Богом порядок во всем остальном, из него вытекающем, что не мог терпеть, чтобы порядок этот нарушался в чем бы то ни было; поэтому его преданность королю была столь пылкой, что во времена парижских смут он шел против всех. Он называл пустыми предложениями все причины, которые приводили люди, чтобы оправдать мятеж. Он говорил, что в государстве, устроенном как республика, к примеру в Венеции, было бы большим злом способствовать воцарению монарха и подавлять свободу людей, которым Бог ее дал; но в государстве, где установлена королевская власть, нельзя отказывать ей в должном почтении, не совершив при этом своего рода святотатства, потому что власть, которой Бог наделил короля, есть не только образ, но и частица власти Божией, и нельзя восставать против нее, не восставая открыто против Богом данного порядка. Он добавлял, что поскольку последствием этого будет гражданская война – самое большое зло, какое можно совершить против любви к ближнему, – то тяжесть этого греха невозможно преувеличить, что первые христиане учат нас не бунту, но терпению, когда государь дурно исполняет свой долг. Он говорил нередко, что сам был столь же далек от этого греха, как от человекоубийства или грабежа на большой дороге, что нет ничего более противного его природе и представляющего для него меньшее искушение; это заставило его отказаться от немалых выгод, но не принимать участия в подобных беспорядках.

Так он понимал служение королю и был непримирим к тем, кто с этим не соглашался. Очевидно, что виной тому был не его темперамент и не упорствование в своем мнении, потому что он был удивительно кроток с теми, кто оскорблял его самого, так что никогда не делал различия между ними и всеми остальными и так прочно забывал то, что касалось его одного, что ему трудно было об этом напомнить, надо было приводить все обстоятельства дела. А если кто-либо изумлялся этому, он говорил: «Не удивляйтесь, это не по добродетели, а по непритворной забывчивости; я уже ничего не помню». А между тем память у него была такая превосходная, что он никогда не забывал того, что хотел помнить. Но поистине обиды, нанесенные ему самому, не запечатлевались в этой великой душе, которую все трогало лишь постольку, поскольку было связано с высшим порядком любви, а все остальное было как бы вне его и никак его не касалось.

Правда, что я никогда не встречала души, более естественно возвышавшейся над всеми порывами испорченной человеческой природы; так было не только с обидами, к которым он был как будто нечувствителен, но и со всем, что радует других людей и вызывает самые сильные их страсти. У него была, несомненно, великая душа, но в ней не было ни честолюбия, ни желаний величия и власти или мирских почестей; все это он даже считал скорее бедой, чем счастьем. Ему нужно было имение лишь для того, чтобы раздавать его другим; наслаждение

свое он находил в разуме, в порядке, в праведности, одним словом, во всем, что могло питать душу, а не в чувственных вещах.

Он не был лишен недостатков, но мы имели полную свободу указывать ему на них, и он подчинялся мнению своих друзей с величайшей покорностью, если оно было справедливо; но даже несправедливые суждения он всегда принимал с кротостью. Необыкновенная живость его ума делала его порой столь нетерпеливым, что ему бывало нелегко угодить; но как только ему давали понять или он сам замечал, что обидел кого-то этой нетерпеливостью, он тотчас исправлял свою оплошность обхождением столь учтивым, что не потерял из-за этого ничьей дружбы.

Он не попирает чужого самолюбия своим, и можно даже сказать, что он не имел его вовсе, никогда не говорил о себе или о чем-то имевшем к нему отношение; известно его пожелание, чтобы порядочный человек избегал называть себя и даже употреблять слова «я» и «меня». Он обыкновенно говорил об этом, что «христианское благочестие уничтожает человеческое «я», а человеческая благовоспитанность его скрывает и подавляет». Он считал это правилом и строго его придерживался.

Он никогда не раздражал людей указаниями на их недостатки, но если уж говорил о чем-то, то говорил всегда без притворства и словно не зная, что значит угождать лестью; он был не способен также не сказать правды, когда был вынужден это делать. Те, кто его не знали, поначалу бывали удивлены, услышав, как он беседует с людьми, потому что всегда казалось, будто он настаивает на своем, и притом с какой-то властностью; но виной тому была все та же живость его ума, и, побыв с ним немного, люди вскоре убеждались, что в этом было даже что-то привлекательное и что в конце концов им не столько важна его манера говорить, сколько суть им сказанного.

К тому же он ненавидел всякую ложь, и малейший обман был ему невыносим; и поскольку ум его отличался проницательностью и точностью, а сердце – прямоотой и бесхитростью, то его поступки и поведение отличались искренностью и верностью.

Мы нашли его записку, в которой он, без сомнения, описывает самого себя, чтобы, имея постоянно перед глазами путь, указанный ему Богом, он не мог с него свернуть. Вот что сказано в этой записке: «Я люблю бедность, потому что Иисус Христос ее любил. Я люблю богатство, потому что оно дает мне возможность помогать нищим. Я не плачу злом тем, кто причиняет мне зло, но желаю им быть в том же расположении духа, что и я, когда не принимаешь ни зла, ни добра от большинства людей. Я стараюсь быть справедливым, честным, искренним и верным со всеми людьми и питаю сердечную нежность к тем, с кем Бог связал меня теснее; и хотя я на виду у людей, во всех своих делах я на виду у Бога, Которому надлежит их судить и Которому я их все посвящаю. Вот каковы мои чувства, и я всякий день благословляю Спасителя моего, Который вложил их в меня и из человека, исполненного слабости, ничтожества, похоти, гордыни и честолюбия, сделал человека, свободного от всех этих зол силою Своего величия, которому и принадлежит в этом вся слава, а от меня здесь только ничтожество и заблуждения».

Без сомнения, можно многое еще добавить к этому портрету, если пожелать довести его до полного совершенства; но оставляю другим, более искусным, чем я, нанести последние штрихи – это дело мастеров; я же добавлю только, что этот великий во всем человек был прост как ребенок в том, что касалось благочестия. Видевшие его обычно этому удивлялись. Не только не было в его поведении каких-либо ужимок либо лицемерия, но как умел он подниматься духом в понимании самых возвышенных добродетелей, так он умел умяляться в следовании добродетелям самым обыкновенным, возбуждающим благочестие. Все, что служило к прославлению Бога, представлялось ему важным, и он все исполнял как ребенок. Главным его развлечением, особенно в последние годы жизни, когда он не мог больше работать, было ходить по церквям, где были выставлены мощи или совершались какие-то обряды, и он нарочно для того запасся «Духовным альманахом», который указывал ему все места для богомолья; и все

это с такой набожностью и простотой, что видевшие его удивлялись тому, и среди них один, человек весьма добродетельный и просвещенный, объяснил это такими прекрасными словами: «Благодать Божия в великих душах проявляется через вещи обыкновенные, а в душах обыкновенных – через вещи великие».

Он питал жаркую любовь ко всей церковной службе, то есть к молитвам из требника, и старался их читать сколько мог; но особенно к службе, составленной из Псалма 117, в котором находил такие дивные вещи, что радовался всякий раз, когда его произносил; а когда он беседовал с друзьями о красоте этого Псалма, то приходил в восторг, и вместе с ним возносились душой все, с кем он говорил. Когда ему присылали каждый месяц памятку⁵, как это делают во многих местах, он получал и читал ее с почтением, не забывая ежедневно прочитывать изречение. И так во всем, что касалось благочестия и могло быть для него душеспасительно.

⁵ Памятка – рассылавшаяся прихожанам записка с нравоучительным текстом, предлагавшимся как тема для размышлений.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.